

Москва

Арт Хаус медиа

2015

Джойс, Нора

любовные письма

УДК 821.111(417)-6
ББК 84(4Ирл)-4
Д42

Джойс, Джеймс

Джойс, Нора. Любовные письма / Джеймс Джойс; сост.
пер. с англ. С.Соловьев; (вступит. тексты С.Соловьева). –
М., Арт Хаус медиа, 2015. – 78 с.

В книгу входят впервые переведенные на русский язык скандально
известные любовные письма Джойса Норе Барнакл. Предваряют письма
«Несколько слов» о переводе и два текста о тех местах, где жил Джойс с
Норой в ту пору – Пола (Пула) и Триест.

Сергей Соловьев, поэт, автор книг: «Адамов мост», «Аморт», «В стороне»,
«Фрагменты близости», «Индийская защита», «Крамский диван» и др.
Лауреат премии «Планета Поэта», финалист премии Букера и Андрея
Белого.

© Соловьев С.

Составление, перевод,
вступительные тексты, 2015
© Арт Хаус медиа, 2015

ISBN 978-5-902976-95-0



Сергей Соловьев

10 | **НЕСКОЛЬКО СЛОВ**
22 | **переход**

48 | **П И С Ь М а**





НЕСКОЛЬКО СЛОВ

С Норой Барнакл, горничной дублинского отеля Finn's (au, Finnegans Wake!) Джеймс Джойс знакомится 16 июня 1904 года. Именно этот день, как известно, и будет выбран Джойсом как время действия «Улисса», а впоследствии станет всемирно отмечаться поклонниками романа как Блумсдэй (Bloomsday). В этот же год Джойс с Норой (Барнакл — прилипала, англ.) переезжают в Триест, где проведут около 10 лет. В 1931 году, 27 лет спустя, они женятся. После кончины Джойса (1941) Нора остается в Цюрихе до своей смерти (1951).

А тогда, в Триесте, о котором Джойс скажет, как Гоголь об Италии: там душа моя, они с Норой переезжают с квартиры на квартиру, он преподает английский в школе Берлица, живут бедно, спят на узкой койке валегом, он напеваает Пуччини, дружит с местной богемой, переписывается с Эзрой Паундом, бродит по городу с Леопольдом Блумом (своим другом и учеником Этторе Шмицем, будущим писателем Итало Свело), пишет «Дублинцев», «Портрет художника в юности» (в начальной редакции — «Стивен герой»), задумывает и начинает «Улисса». Нора рождает первенца — Джорджио, затем — в палате для нищих — Лючию, которая в возрасте 27 лет на почве безответного чувства к Беккету (в те годы — секретарь Джойса) сходит с ума и проводит остаток жизни в психиатрической клинике, где и умирает в 1982 (Джойс, горячо любивший ее, считал это расплатой за «Улисса»).

В 1909 году Джойс ненадолго отлучается в Дублин — открывать первый в Ирландии кинематограф, и в течение декабря обменивается с Норой двумя десятками писем. Эти скандально известные (вплоть до недавней продажи их на аукционе за пол миллиона долларов), в желтом обиходе называемые «порнографическими», письма имеют примерно такое же отношение к порнографии, как в свое время обвиненный в ней «Улисс». Ну, может, я слегка преувеличил. Но по сути так.

Вот диспозиция. Джойсу в том году — 27, Норе — 25. Находясь на вынужденном расстоянии, и не желая, вопреки обстоятельствам, терять тактильную связь, они договариваются поддерживать физическую близость — в открытую, ни в чем не сдерживая себя — в письмах, в словах, делегируя воображению предельную степень свободы. И в этом смысле, в тексте уже не совсем Нора и Джойс, а их провокативные воображаемые проекции, испытывающие своих адресатов на прочность, на пределы наготы. Где пределы стыда между двумя любящими? Что такое «границы приличий»

для страсти? Ханжеские вопросы. В этом качестве они перед ними и не стоят. При том что на дворе — 1909 год, пуританские нравы («Опасайтесь тех, кто работает под невинность или под глубокую скорбь», «Улисс»).

Ведет в этих письмах Джойс, хотя всячески пытается передоверить инициативу Норе. Что, похоже, излишне: раскрепощенности ей у него не занимать (ответы ее не сохранились, но отчасти можно судить по реакции Джойса). Письма эти исполнены страсти, распутства, с крупными планами, во всех подробностях и «перверсиях», запахами, травести-ей, игрой, иронией, обценной лексикой, нежностью, ревностью, но — прежде всего — нестерпимой любовью. Оба сладостно, до одури, изводят друг друга этими вербальными любовниками, согладаясь, проживая их близость вплоть до оргазма — не виртуального.

2 января Джойс возвращается в Триест, перед тем признавая Норе в письме: нет большего счастья, чем дни и ночи

просто сидеть с тобой на нашей бедняцкой кухне, курить, читать, смотреть, как ты стряпаешь, чувствовать, что рядом очаг, дети, и говорить, говорить, говорить с тобой... бог небесный!

Что же может подвигнуть на перевод этих писем, не смотря на вроде бы явное табу частной переписки, причем, крайне особой? Поводом стал случай, благодаря которому я со своей спутницей оказался на несколько дней в Триесте. Бродили по местам Джойса, читали, пили, ели, любилась под дождем и вглядывались в это растущее чувство странных созвучий, будто не двое нас, а четверо, и даже несколько больше. Потом появился текст «Сны Триеста» — об этом. Как некое приближение к переводам, вход. И колебания у входа. И вызов, на время заслонивший этические колебания. Как заметил Пушкин на полях рукописи Вяземского: «Поэзия выше нравственности», хотя и добавил: «Во всяком случае, совсем другое дело».

Да, близость по природе своей сторонится слов. Иначе — куклы на простынях, а бог в окно вышел. Исключения редки. В русской литературе в особенности. Письма Джойса (даже спустя столетие с сексуальными и прочими революциями) вызывают оторопь у более-менее целомудренных и неуютные чувства у закаленных. Точнее, могли бы вызывать. Если вынести за скобку автора «Улисса», возможно, остался бы просто Джим — чувственный самец, могучий и слабый, страстно и «грязно» берущий свою возлюбленную. Только не Джим там, а Джеймс Джойс, писатель, дошедший «до конца английского» (если не языка вообще), автор Вилонской башни письма (кстати, в числе 20 языков, Джойс знал и русский). Точнее, и Джим, и Джеймс.

И второй момент, о котором я уже говорил: письма эти, на мой взгляд, не сводимы лишь к биографической плоскости, а находятся как бы между двумя реальностями — жизнью и вымыслом (текстом), в поле взаимных превращений. В этом смысле, на том же поле, хотя и с разной степенью «люфта», находятся и Молли как образ Норы, и Джойс как Стивен-Джакомо-Блум (дети Джойса его так и называли: Стивен). Что и подсказывало путь, по которому стоит идти в этих переводах, смещая территорию письма от буквальной в сторону художественной, слегка усиленной образностью и допуском той чуть ироничной травести и карнавализации, которая более чем в духе самого Джойса.

И наконец, еще один вызов — язык: перевод на русский едва ли переводимого (и в отношении содержания, и в смысле избобилия obscene лексик, которая, будучи переведенной буквально, ничего плодотворного в художественном плане не сулила).

Я выбрал зыбкую траекторию — провести текст между тремя «гравитационными полями»: письмами, прозой Джойса

и собственным восприятием. Стараясь удерживаться на линии срединного напряжения между ними.

Перевод — это динамика двойничества и промежутка, чистая провокация для нового произведения, когда текст дает вилку, выбрасывая последующие формы, — говорит в своей статье «Топология переводчества» Алексей Парщиков, считая буквальный подход в этом деле протоколным кошмаром. И далее — о случаях непереводамисти, подобной нашей: такая «невозможность» и является целью медитаций. И называет их carbon translation, поясняя: carbon — термин химический, углерод, представляющий межязыковую тьму, о которой мало что может сказать филолог, но в этом, естественном, по ассоциации, мандельштамовском грифеле, активен образный поток, не остановленный словом, не продолженный речью, голое струение воображения, чистый ответ переводчика-читателя на провокацию автора.

Формально — для записи этой динамики двойничества и промежутка — я выбрал переложение в нерегулярный стих, слегка осветлив тональность.

Что же до объяснений в отношении этики — да, вопрос остается. Не первые творческий жест не делится без остатка на этическую подоплеку.

«Чувство прекрасного совлекает нас с путей праведных», — Джойс.

«Он ведь очень любил львов. Ему будет приятно слышать их рычание», — Нора (о могиле Джойса).

Там же, в Цюрихе, вблизи зоосада, была упокоена и она. Как цветок, вьющийся по ограде.



переход

Пола

Сидит за столиком на веранде кафе «Уликс». Вдвое старше себя здешнего. Круглые очки, шляпа. Нога на ногу, трость на коленях. Табличка: писац Джойс.

Крохотная одутловатая официантка Мария с ограниченными возможностями в сопровождении голубого субтильного метрдотеля несет чашечку кофе. Они не знают, где жил писац.

Гуиля, 2, говорю. Головой покачивают — нет такой улицы, и не было никогда.

Старик подошел. Это там, в двух кварталах отсюда, где книжный теперь. И отходя: я так думаю.

Ни таблички, ни ориентира. Человек в красной майке на балконе, кариатиды под ним. Но мужские, с бородой, а вместо ног — хвосты. И руки — будто «семь сорок» танцуют. Кричу ему, перекрывая поток машин. Не понимает. Джойс? Писац? Исчезает, с женой возвращается. Нет, не знают таких.

120 домов, разбомбленных англо-американцами убрывают из Пулы по зеленым холмам Истрии в направлении невестности. И там, прижавшись друг другу, спят. Как лошади.

Лжесвидетели глядят сквозь щели покосившихся ставень на Форум, Арену, Марию Формозу, храм Августа, Капитолину. Над ними порт нависает с выкройкой островов на отлете. Плывут в небе, не сходя с места, сухогрузы, краны

и паруса. Между ними — Ясон, Медея — беженцы в золотом руне. Колхи преследуют их. Колхи, затеявшие этот город.

Жизнь — не Пула, не перейти. Пола — скажут венецианцы. Джойса ищу я, дом его, где он с Норой жил, в 1904 сбегав из Дублина. Спрашиваю. Ни сном, ни духом.

В Париже они, в случайном отеле «Надежда», любовники, первые наедине. Светлы наутро. У нее — лишь одно платье и шляпка, у него — костюм и трость. И ничего больше, кроме будущего.

Он спрашивает ее, насколько богата ее семья. Она смущается, понимая его превратно. Он — о готовности к лишениям.

У нее спальные формы, мягкие, утренние, чуть в тумане. Ей идет эта вуаль.

Годы спустя они вернутся в Париж, найдут тот маленький отель «Надежда», уже переименованный в «Дублин». Им нравятся эти знаки.

Рыба «ослик» на рынке, 30 кун. Ни чая, ни чайников, не изобретены. Но кофе чудесен, с пеночкой, как руно. И мальвазия. И — забыл как зовут — водочка на омеле. А потом под дождем обходить по кругу светящуюся в ночи Арену. Ни души. Лишь морось горит в проемах. И к морю спуститься, вот оно — в него скатываются падающие каштаны.

Ты еще здесь? — спрашивает сон, и задувает глаза сквозь окошко в крыше.

А корабль тем временем причаливает, трап под ногой пружинит, их встречают, он спускается с Норой под руку, а в другой — чемодан облезлый с бельем защемленным. Как эти дома в округе.

Они селятся на виа Гуилья — улице, которой нет.

Кухня — на третьем, удобства — выше. Холодно, ветер с моря. Он преподает в школе Берлица, пишет «Канун Дня Всех Святых», героиня — слабоумная прачка Мария, поющая арии ангельским голоском. Переименовывает рассказ: «Глина».

Нулевая улочка, запертая воротами, уходящая в холм, надпись: «Zegotrasse». Детская площадка с разбросанными по ней римскими колоннами. Девочка, стоящая на «мостике» посреди пустынной Арены. Мог бы ангел взять ее, как за ручку, и унести Колизей.

Зачем, говорит Нора, ты переводишь столько бумаги, не по карману нам. Ее настораживает его способность составлять фразы разными способами и в непредсказуемом порядке. Она видит в этом некую угрозу возможностям понимания. И украдкой вздыхает о Париже, учит французский. Джим, шепчет ему по ночам, ну когда уже мы покинем эту дыру?

Сегодня я не ищу их, иду по кромке лесного мыса вдоль моря. Ярко-желтые, как осколки солнца, птицы мечутся в чаще. Белеют в сумраке новые брошенные унитазы — с чего бы? Указатель: «Барка, постоянный двор», и деревце растет из лодки. Там шкипер со своей женой Юлией чертят

план моего возвращения. С примечаниями на немецком. Этой дороги нет уже, прожита.

Он вглядывается в Нору, испытывая к ней антропологический интерес. Зима близится, нет печки, мерзнут, она беменеет, он выписывает литературу по эмбриологии, обе спокоен, они распишутся 19 лет спустя.

Переезжают к его сослуживцу по Берлицу — итальянцу Франчини, живут вчетвером, комнатка гостевая, чуть теплей, улица Медулинска, 7 (теперь 1).

Медулинска? — переспрашивает меня старик. Дайте подумать. Сел на придорожный столб, смолк, уронил голову.

Медулинска — там, говорит женщина, и налево потом. И рукой показывает направо.

Темнеет уже, вот этот дом, он стоит на развязке дорог, все вокруг снесено, только он и остался. Вернее, не дом, а развалины. Одноэтажным был. Балки висят, проемы сквозят, лестница у стены — в никуда, в дыру в потолке.

А он немного даже поправился, усы отпустил. Пиджак и брюки от разных костюмов, трость в руке. Денди! Только зубы подводят, но починил — три, на которые денег хватало. И пианино арендовал, играет, поет вечерами. Берет уроки тосканского у Франчини в обмен на дублинский диалект. (Быть не может, изумлялся своим ошибкам, я учился у Данте! Ну да, говорит Франчини, он изъяснялся на мертвом языке, ставшем живым после присоединения к Вавилону местного волапука этого захолустья).

Хожу по руинам, фотографирую. Кухонька, туалет... Старая кладка, пару веков, не меньше. Вот и герб уцелел над входом, едва различимый: лавка какого-то мясника, 1897...

Значит, лавка, туши висят, а над ними — на бывшем втором — две комнаты, где ютятся они вчетвером. Может, я тут последний, кто это видит...

Нет, вон в проеме фигура, наблюдает за мной. Треники, куртка, калоши спортивные на зеленой шнуровке. Чем, говорит, помочь?

Маклером оказался. Здесь родился, на этой улице, живет за углом.

Нет, говорит, вряд ли, тут путаница с номерами.

Школа Берлица? Да, говорит, я продал ее в прошлом году — в частные руки. Будет гостиница. Подожди, сейчас позвоню жене, она по-английски лучше...

Через минуту вышла. Ива, — протянула руку, тоненькое запястье. Туфли-лодочки, платье-тельняшка в обличку.

Я и не сразу заметил: девочка у нее в животе. Только когда уже шли по улице и рассказывал о беременности Норы при переезде к Франчини на Медулинску. Сказал, и вдруг почему-то скользя взглядом. Она улыбнулась, перехватив. Девочка.

Длинная унылая земля, пишет Джейс, населенная безграмотными славянами, носящими красные шапочки

и колоссальные штаны. Но хорошо ему здесь, в этой «военно-морской Сибири».

Если что-то и сохранилось, говорит Ивика, муж Ивы, то скорее всего — вон тот розовый дом, там могли они жить, теперь это другая улица, а раньше была Медулинска, 7. До свиданья.

От них еще мейл придет наутро с выписками на хорватском. И что-то о светопредставлении некого местного Кристо — в полночь у моря.

В полночь, запруживая улицы, весь город на набережной — тысячи, с детьми на плечах, ждут, вглядываясь в сторону грузового порта. И вот они вдруг вспыхнули во тьме — портовые краны, протей-иллюминаты, воздетые из пучин, меняют цвета, переливаясь, меняя кожу и пританцовывая, и что-то меж ними там дивное происходит, ископаемое, под тоненькою Лунной, и Моцарт звучит над городом, над морем, над притихшей толпой. А за спиной — Арена, вслушивается

воронкой. И где-то во тьме — остров Бриуни, и Тито объезжает владения на своем слоне...

А наутро Франчини стучится в дверь: в городе, говорят, обнаружена шпионская сеть, распоряжение — всех иностранцев выселить в 24 часа. Они собирают вещи, переезжают в Триест. Мария, подрагивая заячьей губой, машет им вслед с веранды «Уликса».

Сны Триеста

Он говорит: в 1912 году Рене Карл Вильгельм Иоганн Йозеф Мария Рильке по приглашению княгини Марии фон Турн-унд-Таксис Гогенлоэ приезжает в ее Дуинский замок под Триестом и начинает Элегии. Примерно в это же время Джеймс Августин Алоизиус Джойс, живя в Триесте, дописывает Портрет художника и, прогуливаясь со своим другом

и учеником — Ароном Гектором Шмицем (Итало Звево), будущим прототипом Леопольда Блума, задумывает Улисс. Оба смотрят в один морской горизонт. Ни до, ни после за всю свою 2-тысячелетнюю историю этот странный греко-римско-австро-венгерско-славянский город, расположенный в регионе Фриули-Венеция-Джулия, не отмечен ничьим присутствием, кроме этих двоих.

Кому он говорит — ей? Нет ведь. Она лежит на широкой кровати, сбросив одежду на пол, в окне — гавань, куда завтра должен прийти корабль и забрать их из этого города — туда, на Мальту и дальше... Но никаких кораблей не предвидится: пустынный горизонт, морозящая пелена, кажется, здесь и не было кораблей никогда.

Она лежит за его спиной. Смотрит на него, прислушивается? Ноготочки стрижет? Кто эта женщина с маленькими предлогами легких ладоней, будто вода ушла, тихо так, с маленькими подлогами слов, слов, слов... без окна. Но не повернуть голову, не увидеть губ ее, хотя вот они, так близко, будто они его. Небольшая улыбка идет на убыль. С нею. А с городом на оборот.

Не помню, он говорит, не оборачиваясь, чтобы слова мои были в таком недоумении и растерянности, как с ним. Разве он город? Дыра, глазок в этом открыточном погосте Европы, а куда смотрит и откуда — неизъяснимо.

Лежит, смотрит. Голая, как море. Как тот цветок, дикий. Да, моя маленькая Лилит. Да, Марина. Да, Молли, моя несравненная, любимая, моя ясноглазая испорченная школьница, будь хоть стервой, хоть возлюбленной, ты навсегда останешься моим чудесным диким цветком, вьющимся по изгороди — моим синим, напоенным дождем цветком. Да, он говорит, но что он помнит, чтобы говорить «да»?

Вот она, на остановке вошла, села рядом, неузнаваемая, но и голову не повернуть, запах такой, как из дачного сада,

даже не запах такой, а путь к этому саду ночному в детстве. Они продрогли, номер в каком-то замке, она так легко предлагает ему раздеться, и он раздевается, пена, ванна... Повадка самки, когтящей нежность, незримую, у черты. Лишь ноздри, губы и взгляд прямой, но слегка косящий, меж «ты» и «Вы»...

Может, и ноготочки. Как эта зыбь морская в пелене сквозь промельки солнца. И эти окаменелые громады стоят в пелене, будто они без глаз, без рук, без чувств. Ни одного моложе ста. Может, и есть, но в платях 19-го и ранее. Нет этих стекленеющих небоскрежных големов — ни одного.

Да, корабль «Никогда», он и придет.

Или вот — будто полсотни Невских проспектов времен Набокова, он говорит, взяли за руки и гурьбой высыпали к... ба! Да тут море, Средиземное! И тут же забыли о нем. Пелена, морось, и не ждаты корабль. Тсс... Спиной к морю стоят. Даже когда лицом — все равно спиной. Потому что

они фигура, любовный многоугольник. Между Италией, Австро-Венгрией, Словенией...

Между. Между ее губ, ладоней, бедер. Между ее жизнями. Что он помнит? Сугробы пены, следы промоин — от взгляда? тела? ее руки? Стоит у края, одна рубаха на ней, белей того, во что он обряжен, и водит взглядом от пят до паха, и распускает его как пряжу. Но есть и третий, он что-то помнит, он там, вдали, но и между ними: мол, часа нет, как они знакомы, то есть мы. Он проходит мимо всех шести зачехленных чувств, он не видит себя во сне, и не понимает, чью с ним он делит судьбу. А с ней? — этой худенькой женщиной-мальчиком с этой колкой стернею волос, с этой жаркою дрожью запялчиковой, с этим телом, сошедшим с колес... — чью судьбу?

Она лежит поперек кровати, на животе, подперев кулачками лицо. Ну что там, Джимми, мой Лео, ольховый мой

Серджи, что ты там видишь, Стивен, кончился дождь, идет ли он, наш корабль?

Да, он думает, как цветок по изгороди, как повилочка, он взбирается на гору с Далматинской площади, этот старый трамвай, а в нем — французский консул Стендаль, футурист Маринетти и психотерапевт Фрейд, говорящий им, что это не город, а воплощение либидо — италийнского, женственного, божественного... Да, он думает, а город — там, внизу, в дымке: кондитерско-имперские дредноуты 5-этажных лепнин, щечка к щечке, но при этом делают вид, что никого рядом. Каждый — пуп! Расписной, со ставнями и непременно одним балконом — для торжественных выходов. Но никто не выходит. Как и у окон — ни души. Никто не живет в этих домах. Никто. Все окна темнят. Ну разве что одно-два на громаду светится, да и то, похоже, притворы. А люди — на улицах, в кафе, на площадях. Но — как в замедленной съемке. И ни одного туриста, нет пришлых. Кто же тогда живет в этом городе? Кто эти люди на улицах? Кто стоит за опущенными жалюзи нежилых окон? Например, по виа Армандо Диаз, 2, второй этаж. И вот они выходят из парадной: «Какой такой Джойс, — переспрашивают жильцы, — это наш дом, никаких писателей тут нет и не было». Над дверью — вывеска: «КАТАСТРОФА», а в витрине — старые радиоприемники.

Что он помнит? Отвернувшись к стене: как ботиночки те, нелюдимы... Нет ее. Лишь рубаха во тьме в этом городе-замке с отклеенным гримом. Нет ее, только тьма. И одними губами она ему: встань! И он из пены встает, и вся жизнь — как книга с рассыпанными листами — ни прочесть, ни собрать...

Не собратъ, Блум, не собратъ цветенье. Как один нескончаемый день — женщина, эти улочки в ней, пелена, корабль, который никогда не придет, цветок, вьющийся по огаде, эти деревья с пряным запахом, одурью ароматов,

как в укромных уголках ее тела, которого нет здесь, как нет и деревьев. Как странно. Нет их здесь, в этом городе. Но ведь это не так. Они ниспадают древесным вавилоном с холмов и гор его окружающих, а в город — ни-ни. Но ведь это не так. Есть места. Есть места в твоём теле. Узкие улочки, вверх-вниз. И затмения. И дома-мальчики и деревья-девочки, но живут раздельно. Стриги-стриги ноготочки, красть — тем же матово красным, как там, в глубине лепестковой, укромной, дуй на них. Дуй маленькими незримыми словами, с улыбочкой в сторону окна и его спины — голой, родной, незнакомой, как объятье без рук. Да, есть места и для смешанного проживания домов и деревьев, и уж там они тихо сходят с ума — как цветы по изгороди, до одури, до затмения.

До одури просветленья писать Навикаю, полную, как говорит он, ладана, культа Девы Марии, жареных устриц, палитр художников, трепотни, околичностей и т.п., жить в съёмной квартире с одинадцатью домочадцами, donating башмаки сына, на два размера просторней, преподавать английский в школе Берлица, замирая с недвижимым взглядом в окно и, возвращаясь в себя, диктовать слова, слова — без смысла, последовательности и метода, идти домой, но где он, дом, в этом городе, играющем им, как в персток, городе «увядающей эlegantности», о котором — о, счастье! — забыла история, забыла — и об аргонавтах, и об Аттиле, о об Ангеле, возвестившем день Страшного Суда, жить здесь, и больше всего на свете трепетать от грозы, любить Пуччини, говорить на триестино — будущем языке Поминоков, до одури обожать Нору, осыпаясь жаром от зариной нежности к ней, пробираться в комнате от кровати к кровати через гору черновиков, зачинать детей и не зная, куда положить их, называть Триест своей душой и бояться оставаться в нем, в ней, бродить от пивной к пивной по этому «левантийскому Дублину» с будущим Блумом мимо ран-

них базилик и руин Колизея неподалеку от сербского храма, напевать своим тенором по-русски, поджимать надмирные губы, писать Паунду, что, наверно, умрет этой тварной ночью в «Полярной звезде» на Большом канале, где в дальнем углу все еще стоит это русое расстроенное пианино...

Да, Марина? Ах море, алое как огонь, и жасмин, и Гибралтар, где ты была девушкой и Горным цветком, и он целовал тебя под Мавританской стеной, и ты подумала: не все ли равно — он или другой, да?

Он оборачивается к ней: да? Может, сходим в Джованни? В то маленькое быстро за театром, где не протолкнуться от гомона, где кружка бочковой мальвазии стоит один евро, где снизываемая тесаком с туши пармская ветчина — три. Пойдем-пойдем, она тянет руки к нему, она оплетает ногами его бедра, она нашептывает ему пыл и печаль, возвращая ему себя как тайну, как жизнь, втягивая его в жаркое темное лоно своего имени... Нора, шепчет он, он Ноора... Сле-

пелаявая его мокрым волнующим маревом, она смеется, ей не нужен язык. Ее подмышки пахнут марихуаной. Сосочки ее — паиньки, те еще. И мальчишечьи бедра, и 35-й размер ноги. Она смеется, с этого начинается. А глаза монголки, глядящей в угли, и губы — те, что мучить и пить, и пить. Она смеется, снизу вверх тебя обживая. Маленькие ее кисти, как карты сибирских рек, а в ладонях — тишь, лето. Она крадется ими к тебе. Она вьется веретеном под тобой, как соболь, играя, прощаясь с жизнью. После близости с ней мир теряет свои очертанья, надевая что под руку. Вот окно в ее нижнем белье, а кровать ушла. Она мать. Она — ждать и море. Она случай, внутри нее влажный луч. Это как с будущим, говорит, оно здесь, и смеется. И вот здесь, — раздевая тебя и унося в себе. Как кошка, ее прошлое бродит само по себе и, возвращаясь, о ноги трется. Марина, он шепчет в ее подрагивающие веки, пойдем, пойдем...

Они спускаются в лифте, выходят под морозящий дождь и движутся в его пелене черным сплетенным иероглифом под красным зонтом. По пустынной набережной, по виа Мирамаре, мимо сидящих на парапете у моря двух окаменевших девочек, двух школьниц, двух парок, Норы и Марины, они стригут ноготочки, камень, ножницы, бумага, пена заливает их босые ступни. Теперь налево, где между Беллини и Россини течет рукотворное море, в котором когда-то исчез эсминец, мимо св. Спиридона, через мостик, где стоит на ветру Джакомо — в круглых очечках, в шляпе и сюртуке, да, как обычно носил он — пиджак и брюки от разных костюмов, стоит, руки в карманах, неприметный, 1 м. 70 см., огибаемый торопливыми прохожими, и дальше — по Николо Паганини к св. Антонию и снова налево — по Сан Лазаро к трактиру Джованни, да?

Да, вздрагивает Свево Блум, стоящий под дождем в полчаса ходьбы отсюда — бронзовый, 1 м. 70 см., спиной к чернильнице моря, на пьэца Хортис.

Да, вглядывается в окно дуинский затворник: как кроется в молниях небо, как врывается ветер, склоняя его над листом бумаги: «с красоты начинается ужас».

Да, шепчет на мосту Джакомо Джойс, у писателя в чернильнице есть лишь один роман, который он пишет всю свою жизнь.

Да, говорит она, и тогда он спросил меня не хочу ли я да сказать да мой горный цветок и сначала я обвинила его руками да и привлекла к себе так что он почувствовал мой груди их аромат да и сердце у него колотилось безумно и да я скала да я хочу Да.

И корабль вплывал в окно, заполняя все его никогда.



ПИСЬМА

Прости меня за вчерашнее.
Я писал его, глядя в твое письмо,
в слова: в оргию их — беспощадную —
меж двумя.
Родная,
мой дикий цветок,
вьющийся по овраге.
Да, мой небесный, пьющий дожди, цветок!
Но ладони вослед, свету ее — к тебе,
поднимается зверь вожделенья
к каждой пяди твоей, страждет

всех укромных твоих уголков, рыщет,
принюхиваясь к стыду и тайне.
Да, любовь моя молится
на этот призрак нетленной красоты
в кротких глазах твоих, и, молясь,
валит тебя на живот
и покрывает, как хряк, упиваясь
этой сладостно едкой волной
аромата, из недр твоих исходящей,
наслаждается срамом твоим
между задранных наспех одежд
и каких-то едва ли не детских рейтуз,
и съезжает с колес
в твоих спутанных прядях волос
на горящей щеке,
и вбирает твой лепет, всем телом

его повторяя.

Или лежа валетом, один на другом,
пить друг друга в защеме меж ног,
и высасывать красно пахучее лоно твое,
и давать себя в губы и пальцы твой —
там и там, отнимая, даря, проникая...
Я на голос тебя научил обмирать,
на мой голос, поючий душе твоей пыл,
только пыл и печаль, это таинство жизни,
для которой не стыд и не грязь даже то,
чему губы учил твой, руки, язык, даже то,
что — ты помнишь, как лег под тобой
и смотрел, а ты делала это, а после
даже взглядом со мной не решалась... Моя!
Ты — моя, ты — любовь, эти строки мой —
лишь затмение, горячая сперма. И тишь,
и светает в глазах и в округе, в себя приходящей,

светает в словах и в любви — настоящей и пряной,
к тебе. Моя плоть ненасытна еще и, ослепши,
от последнего резкого «да!», еще вздрогнет,
качнувшись, уже на свету, в пустоте. В пустоте?
Это в сердце открытая течь загопляет уже
тихой нежностью все, что есть ты, что есть я,
моя Нора, моя ясноглазая школьница,
шкодница, шлюшка, дичок мой, любимая, будь же
моей — навсегда, сколько хочешь, моей
дождевой, голубой, по небесной ограде
бегущей, цветущей моей повилкой!

Ты обращаешь меня в зверье. Ты, ты, ты, ты,
бесстыже влекущая за собой. Это твоя рука
первой (где это было? — в Рингсенде, да? —
выкатилось колечко) трогала — там — меня.
Это твоя проникла, чуть отстранив рубаху,
длинными, легкими, нежными нестерпимо,
да, как цветков по изгороди, как повилика,
и взяла его медленно, изнуряя и возводя,
глядя в глаза мне, кроткая и святая,
когда я сквозь пальцы твои истекал,
пока я не вышел весь. Это твоя губы

первыми — как надкусили яблочко —
слово произнесли — то, что вначале...
Где это было? Пула ли, Пола ль? Полный
север, постель, славяне, перекасти-любяны.
Где это? — помнишь, ты подо мной лежала,
как до весны, под снегом, в тихом тепле,
и вдруг — ты надо мной, на мне, и пелена
тонкой твоей сорочки, сорванной, падает,
падает. Ну же, давай... давай! — шепчешь,
вскидываясь и оседаю, будто рожок мой мал,
мал для тебя, разбуженной и бесстыжей:
ну же, fuck up, love! Fuck up, love! Любимый...
И скачешь, скачешь, Любяна, Пула...
Позволь мне, Нора, спросить... меня так мучит,
ведь, как ладонь, разжался в тебе, открылся,
ответь мне честно — за правду правда —

тот твой Причинный, прости, Могильщик,
тот центик, Винсент Косгрейв, он только трогал
тебя... снаружи? А если нет, как далеко он
зашел? Рука — под юбки? А пальцы (двое?)
прокралась в норку? Нора! Он трогал носик,
нашел его он? И сзади тоже тебя касался?
Он кончил, Нора? Ты помогала? Рукой, губами?
Тебя просил он? Куда, скажи мне, он изливался?
На грудь, в лицо ли? С бедра (как долго?) салфеткой
ты вытирала? А запах, Нора? А чувство? Ладно.
Еще вопрос (да, изнуряй, еще есть силы). Знаю,
что был я первым, что ты — моя, мое созданье.
Но знала ль ты допрежь ту дрожь — хоть дрожь —
до дней творенья? Да? Но с кем? Тот паренек,
тот Миша Бодкин, который люб тебе был, нет?
Скажи мне, Нора, честь за честь, за темень —
темень, — он? И пальцы твои тихие, как мыши,

в лазейку, чуть скვозящую в штанах, пробрались,
нет? И не скользили вниз, и там, в мошонке
его мохнатой, не замирили, не шептались, да?
Твой мышонки, Нора... Темень, страсть такая,
что даже если б ты (о нет! — скажи, скажи!)
губами — этими — своими, от которых не оторвать меня,
сказала бы, что вся деревня рыжих в графстве Гэлвей
тебя вертела... Я сдох бы по тебе. И выжил —
я так тебя хочу!

Позволь, дорогая, тебя попросить, чтобы ты обрядилась в те панталоны с бантами и оборками. Нет, не школьные с их убогой тесемкой, а те, чтобы я утопал в них мутящимся взглядом, как тело твое по ту сторону их утопает. В кружевах и оборках, с малиновым бантом и одурью легкой парфюма, с невозможным для взгляда сквоженьем меж ног, чтобы плоть твоя в этом тряпично пернатом базаре, отгнетя его, изводила меня, когда ты, распалаясь, там колдуешь незримой рукою, и я по губам

твою руку читаю, все ближе к тебе, и срываю, срываясь, неземной опереточный воров с тебя, и, задрав твой ноги, впиваюсь во тьму поцелуем, в эту бледную тьму полушарий, оголенных и сладких, и шалею от двух ароматов, не считая твоих панталон. Не опешила ль ты, дорогая, от этих признаний? Может, думаешь, эта любовь моя — ангел с гряззой? Так и есть. В неком смысле, в иные моменты. Порой, я тебя представляю самым пошлым извивом, настолько, что, пока не увижу, сказать не могу. Мой улисс начеку, он читает твой вожденные влажные письма, в плену он читает твои панталоны, взволнован от каждого знака, от пятнышка, запаха, звука, встает и ложится, от звука врасплох и утробного, срамного, едкого их аромата, от слова, слетевшего с губ твоих, вредных, распутных. Я в такие минуты готов, как мне кажется, пасть —

ниже некуда, но и некуда выше, чтобы ты измотала меня, иссосала все соки, чтоб я изъелозил тебя в той ложбине меж дивных молочных холмов, и оттуда излился в лицо — на горячие щеки, глаза... И потом, под крестцом, раздвигая твое баснословье огузка и срастаясь с тобой, умереть. For tonight, just for tonight...

Я надеюсь, ты получила мою телеграмму и все поняла. До свиданья, моя дорогая.

Боже праведный, как ты можешь любить это чудище, Нора? Прощай. С нетерпением жду ответа, родная. Твой Джим.

Щемя и услада моя, невозможная девочка,
я совершил это — как ты сказала в письме:
был в тебе дважды, как только прочел.
Радостно ль мне, что отдаться по-шотландски,
ангельски шотландски, ты любишь не меньше,
чем по-людски? О еще бы! Я помню ту ночь,
это было темнее всего, что я мог тебе дать,
и что ты мне вернула вдвойне. Да, я помню
ладони свои на твоих ягодицах высоких,
помню звук этот — схлест их с моим животом,
и лицо в этом выверте — там, на подушке, твое,
с жарким ртом и пунцовой щекой и безумьем
в зрачке, а в моих глазах — мир ходуном.
И когда я входил в тебя, помню, язык твой
всякий раз прорывался сквозь губы, и чем
я грубее и глубже входил, тем сильнее и громче
ты их исторгала навстречу мне — дивные звуки,
оттуда, из недр твоих, на утреннем наречье,
в тебе все трещало, вещало и жалобно пело,
я носом вбирал этот рай, этот выспренный смрад,
тобой наливаясь, как хвощ, как растение праной.
Но сколько же было в тебе их, родная, дружков
благовонных, грязненько-ангелят, этих вонек
небесных, которых в тебе изгонял я, как духов —
и ветреных дунек, и грузных матрон, и малюсек
веселых, бегущих от бури в тебе, от потока
спасаясь. Как все же прекрасно заняты любовью

с такой симфонической женщиной, Нора, чтоб каждое прикосновение так откликалось! Мне кажется, я и на нюх бы тебя распознал в духмяной кадрили из тысяч несдержанных женщин. Не влажен твой звук, как у жирных напудренных жен, он сух и внезапен и смел, и не более грязен, чем тот, что испустит в свое удовольствие славно и дерзко простая девчонка в ночном общезитье. Надеюсь, моя дорогая, когда-нибудь ты это сделаешь прямо в лицо мне — и этой волной благодати накроешь! О пукалка милая, школьница, шкода, мерзавка моя, ты пинешь, когда я вернусь, ты всего меня выпьешь, и я представляю себе эту ночь: я во сне, я одет, крадешься губами и пальцами, медленный тихий огонь в глазах твоих сонных, одну за другой расстегнула, прильнула, взяла и взрастила, и там он, в пещере, как дервиш, танцует, пока не забьется в экстазе,

прольется и ляжет. И вытрешь его, и ладонью усталые мутные губы. Когда-нибудь лунною ночью я тоже тебя удивлю: осторожно сниму твой юбки, раздвину чуть влажные дверцы с влекущею щелью под темным кустом, и залягу под куст, и начну языком я тебя, дорогая, лениво, неспешно начну я, и будешь ты тихо вздыхать, и продолжу тебя языком, все быстрее, как пес, я лакать тебя буду, а ты, извиваясь, постанывать, будто во сне, и ронять эти страстные звуки, чей запах, как ангел, будет долго витать... Ну, спокойной же ночи, любовь моя, птичка Пук-пук и Трах-трах. И пиши мне побольше про это, еще и почище. Твой Джим.

Вот тебе денежка на штанишки нижайшие, моя пташка, только выбери поразвратней — моими глазами, и потом не забудь их пошпикать какой-нибудь дрянью небесной, походи в них, попачкай слегка, обещаешь островок, чтоб — как маленький бог или вдох — нечитаем он стал. Ты, похоже, горишь (да, подвязки купи и чулки) нетерпением узнать, что я думаю про твое письмоцо, говоря, что моих оно будет похлеще? Чем же, друг мой? Ну да, в двух местах ты, пожалуй, меня превзошла: с языком (но не там, где меня изнуряешь) и словом — тем, написанным крупно над жирной волнистой чертой. О как это волнующе — из твоих целомудренных уст

это слышать, мерзавка! Напиши же мне длинное — как твой разведенные ноги, письмо, чтобы пятки его на крестце моем дрожью сходились. (Ты помнишь нашу сирую узкую койку, в которой мы спали валетом, глядя в ноги друг другу, распутье к распутью?) Ничего не пиши, кроме этих подчеркнутых слов — ничего нет прекрасней и чище на свете, чем эта первородно бесстыдная грязь: он, ты видишь, как суслик радеет в молебне пред солнцем ее восходящим. Спроси у него: что есть грязь? Да святятся ее имена, он ответит. И, признаюсь тебе, я согласен с ним, Нора, и больше скажу: эти норки в тебе мне милее вдвойне оттого, что благу несут они весть орошения и удобренья! Боже, Нора, я б жизнь напролет в них глядел, изнывая от скоромных девчачьих твоих ягодиц, от незримых, но явных на запахах и слух, юрких попигов звука, расстриг

аромага. Пришли же мне полный их список с волнистой под каждым чертой. Я представлю себе, как прилежно ты вторишь губами словам на бумаге, как тело твое вослед за губами себя подбирает на память. Я вечность в тебе коротал бы лишь взглядом, когда бы мой Микки так пылко в тебя не стремился под хвост твой. Я счастливы, моя похотливая пташка, певунья моя!

Спи сладко, малютка, бай-бай, ненасытная сучка. Пойду-ка прилягу и я — чуть подергаюсь, кончусь. Пиши мне. Но крупно и мутно. Как солнце в дождя панталонах. Пиши и целуй — чем грязнее, тем слаще — веселые эти словечки. Но прежде чем слать их, просунь, дорогая, под платые, овей их горячим и душным, а хочешь — так сделай и больше. Потом отправляй, любовь моя, пташка с коричневой попкой. Их ждет — как весну соловей — не дождется твой Джим.

Нет письма! Моя девочка-солнце в обиде на грязь.
Горе мне, пачкуну! Это всё за слова о твоих панталонах?
Чуть ли какая! Они осиянны, чисты, незапятнанны, Нора,
как сердце твое! Я бы, милая, пал на колени в их храме
и благословенья молил, когда бы допущен был. Святы
они. Ну — прости богохульство — запачканы чуть. Знаешь,
самую малость. И где — в голове моей, Нора, лишь в ней!
Ну прости мне ее, эту голову, так нестерпимо отрадн
ей там мазать тебя и слова подбирать погрязней
в этом поле пречистом! Ну хочешь, я стану твоим
бледным мальчиком-с-пальчик, и ты — с накладными

ногами и грудью восьмого размера — уложишь меня
на колени свои и мочеными розгами всласть отхлестаешь?
О Нора, какая мура, что я обмираю тебя доконать.
Хватает с меня одного лишь звучанья запретного слова,
одной только мысли, что эта красавица, скромница, руки
заводит за спину и медленно платье приподнимает,
нагнувшись, и этот мужлан, который так нравится ей,
уже со своим — с позволенья сказать — телеграфным
столбом проникает в нее. Ну ладно, со столбиком
высоковольтным. Как свежи, как девственно чутки снега!
Как местность дрожит в наготе и в размыве теряет
свои очертанья, вперед забегая и возвращаясь, вперед
и назад, туда и обратно, вперед и...

Я кончил. В штаны, дорогая. Я крайне измотан. Мне надо
идти на почтамт. Я их должен сегодня отправить —
три важных письма. Но не в силах. Прощай, Нора mia!

Ну наконец ты мне пишешь, моя дорогая. Как мило! —
бесвязней, чем тело твое после бурных затей.
Ты славно, видать, над собой потрудилась, малышка, —
настолько, что лыка не вяжут ни ноги, ни строки.
А что до меня, то я так измочален собою, что даже
боюсь на него и взглянуть — не уверен, что жив он,
я так его вымотал, что, полагаю, ему уж не встать.
И даже тебе, будь ты рядом, ухлопать пришлось бы
на этого лазаря битый часок твоих ангельских ласок.
Родная, когда я вернусь, пощади — не с порога
вали меня в счастье, давай хоть до ночи отсрочим,

поморим любовь — дай прийти мне в себя. И в тебя. Но
прошу: осторожно, бери меня нежно — настолько
я мягок и мал, что, помимо тебя, ни одна бы, пожалуй,
не стала бы тратить усилий на этот гештальт безнадёги.
Люби меня так, как во сне, как себя, как ты хочешь —
одемой любви в этой шляпке с вуалью и чуть покрасневшим
лицом от мороза, в сапожках, забрызганных грязью, любви,
на стуле меня оседлав в ездových панталонах с хлыстом,
и в той (я надеюсь, она сохранилась) прозрачной сорочке
на голом полу, или голой на голом, с малиновым робким
цветочком в укромной ложбинке округлых твоих ягодиц,
люби меня вдоль, как мужчина, утюжа меж бедер, любви
над собой, на столе, под столом, уходя под меня с головой,
как под воду, люби меня сбоку с тем тыльным окошком
в твоих панталонах бесстыдно открытом, любви в темноте
на пыльных чердачных ступенях и в погребе дохлом.

И, знаешь, люби меня как, дорогая? Как нянька — солдата: заботливо, чутко и с толком, с целебной ладонью на сладкой разбуженной ране, и дивные жгучие сказки на ухо шепча про тайны девичьи, про ведьмины вишни внизу живота, склоняясь все ниже, губами проникнув под полог рубахи намокшей, играя с изнывшими, полными жизни, двумя слепыми шарами в волшебном мешочке, и перебирая рукою, как струны, округу, и все лепеча, лепеча — всем телом: и голосом жарким, и праной пахучей и дальней, и дольнею этой, несдержанной божьей росой... О милая, баста, закончим на этом! Готовься к приезду. Я вижу охристый линолеум, ночь занавешена красною шторой, два кресла — простых и удобных: вот кухня, ковчег наш. Я знаю, ты справишься с этим. Безвылазно буду сидеть развалившись, читать и курить, наблюдая, как ты кашеваришь... О бог мой небесный, как счастлив я буду! Огонь в очаге и чашечка кофе, и дети, и ты: говорить, говорить, говорить

с тобой, странноглазая жизнь и любовь моя, Нора, мой дикий, напоенный влагой цветок, по незримой ограде бегущий.

Литературно-художественное издание

ДЖОЙС, НОРА

Любовные письма

Переводчик и составитель
Сергей Соловьев

Дизайн обложки
Ирина Рябчикина

ISBN 978-5-902976-95-0

Подписано в печать 19.10.2015.
Формат 120 x 90/16. Бумага Colobech.
Печать листовая. Печ. л. 39.
Тираж 500 экз. Заказ № .

ООО «Арт Хаус медиа»
Россия, 125047, Москва, 3-я Тверская-Ямская, д. 21/23, кв. 26
Отпечатано в ФГУП «Издательство Известия» УА ПРФ
г. Москва, ул. Добролюбова, д. 6, 127254

Книги издательства «Арт Хаус медиа»

Вы можете заказать по адресу:

<http://www.ahm.ru>

E-mail: njukta@yandex.ru

по телефонам:

8 (915) 193-31-91

8 (495) 363-45-91

Купить книги издательства можно
в магазинах Москвы

